

Политический режим и социальный порядок. Проблемное поле посттранзитологической парадигмы

Генри Хейл и Фиона Хилл принадлежат к числу лучших современных американских специалистов по России, хотя и работающих в несколько разных жанрах: Хейл остается в рамках прежде всего академической карьеры, в то время как Хилл — преимущественно на уровне аналитики. Их статьи¹ в специальном выпуске журнала *Daedalus*, посвященном России, призваны ответить на один и тот же вопрос — насколько возможны изменения в российской политике на горизонте примерно десяти лет и какими они могут быть? Статьи демонстрируют вполне согласованный взгляд на природу и особенности российского политического порядка, несмотря на то, что Хилл описывает его более операционально, а Хейл — сквозь призму развернутой теоретической концепции.

Фиона Хилл, соавтор (вместе с Клиффордом Гэдди) одной из самых известных, самых фундированных и серьезных книг о “феномене Путина”², смотрит на возможные вызовы политической динамики сквозь призму этого феномена. Центральный фактор авторитарного равновесия в сегодняшней России — это персоналистский режим Владимира Путина. Хилл оговаривается, что система власти в России достаточно сложна и не сводится к решениям одного человека, а представляет собой совокупность взаимодействующих институций и переговорных площадок. Однако эта система пронизана “людьми Путина”, занимающими ключевые позиции на разных ее уровнях. В широкую орбиту “людей Путина” включены не только ставшие олигархами ста-

рые знакомые, силовики, распорядители важнейших финансовых потоков, но и технократы, возглавляющие экономические ведомства и Центральный Банк, и такие люди, как Алексей Кудрин. Все они ориентированы на Путина как главный фактор российской политики, а их собственный вес в значительной степени определяется доверием президента и личными отношениями с ним.

Природа персоналистского авторитаризма Путина, как отмечает Хилл, основана на его двойственной роли — верховного босса элитных сетей и коммуникатора, имеющего непосредственные взаимоотношения с “нацией” (навязчивым медийным образом которых являются так называемые путинские “Прямые линии”). Эта двойная роль определяет текущую стабильность и потенциальную нестабильность системы. А главным вопросом на горизонте до середины 2020-х годов является вопрос перехода власти, или, во всяком случае, подготовки такого перехода, ахиллесова пята персоналистских режимов — проблема наследования.

Основная мысль статьи Генри Хейла также непосредственно связана с идеями его последней книги “Патрональная политика. Динамика евразийских режимов в сравнительной перспективе”. Патронализм, по Хейлу, — это специфический общественно-политический уклад, “общественный эквилибриум, в котором индивиды организуют свои устремления в политической и экономической сфере прежде всего вокруг персонализированного обмена наградами и наказаниями, а не вокруг

деперсонализированных абстрактных принципов, таких как политические убеждения, или других категоризаций, за которыми стоят большие группы людей, лично им неизвестные”³.

В целом концепция “патрональной политики” представляется исключительно плодотворным шагом в описании тех реальных механизмов, которые организуют распределение власти в недемократических режимах. Писанные конституции имеют здесь, как правило, все признаки демократии, но фактическое устройство общества и политической системы радикально отличается от декларированного. Для решения этой загадки анализ Хейла возвращает нас от политического к социетальному уровню — к вопросу о том, как устроены в социуме повседневные обмены и взаимодействия, структурирующие социальные отношения. Особенности их организации и ожидания агентов этих отношений и определяют в конце концов то, каким образом и в каком объеме функционируют или не функционируют формальные институты. Преимущественно неформальные и основанные на персональном доверии отношения, характерные для социальных взаимодействий на микроуровне, воспроизводят себя на макроуровне (национальной политической арене), и понятие “патрональности”, таким образом, позволяет увидеть их взаимосвязь⁴.

Система личных взаимоотношений и обменов имеет свойство складываться в патрональные сети, а консолидированный авторитарно-иерархический порядок, согласно Хейлу, возникает, когда эти сети выстраиваются в единую пирамиду. В определенных ситуациях легитимность лидера пирамиды может оказаться под сомнением, в результате “пирамида пирамид” распадается на несколько автономных и конкурирующих между собой патрональных сетей. Такие циклы консолидации и распада объясняют политическую динамику патрональных режимов. Их кризисы (в том числе так называемые “цветные революции”), которые воспринимаются энтузиастами как эпизоды демократизации, в действительности не затрагивают базовые принципы социальных взаимодействий, а потому после периода конкуренции нескольких патрональных сетей единая пирамида имеет

тенденцию к регенерации. В этом концепция Хейла вполне созвучна другой авторитетной скептической (посттранзитологической) модели — модели “конкурентных авторитаризмов” Лукана Вэя и Стивена Левицки⁵. Отмечая вслед за ними фиктивность ряда постсоветских демократизаций, Хейл делает следующий шаг, объясняя эту фиктивность особенностями господствующего (и не изменившегося) социального порядка.

Довершая здание своей теории, Хейл утверждает, что патрональный порядок, сохранившийся в постсоветском периоде, был свойственен и царской России, и коммунистическому режиму в СССР. Социальные сотрясения, пережитые Россией в конце 1910-х и на рубеже 1980–1990-х годов, оказались не способны изменить фундаментальные принципы социальных взаимодействий и не обеспечили перехода от персональных обменов к деперсонализированным отношениям, опирающимся на формальные структуры и правила.

Партии, корпорации и банды

Для понимания проблемного поля концепции Хейла крайне важна его предыдущая книга “Почему не партии в России?”⁶. Действительно, консолидация системы персональных взаимодействий, подменяющей категориальные отношения и формальные структуры, является оборотной стороной неудачи в становлении деперсонализированных негосударственных организаций, превращающих стремления индивидов в коллективную волю и способных выступать в качестве политических акторов в условиях демократизации. Формально партии в постсоветской России существуют, однако их зависимость от избирателей слаба, в то время как зависимость от различных групп интересов высока. Эти партии не являются инструментом доступа к власти, но, напротив, инструментом в руках тех, кто уже получил такой доступ и может использовать его для управления “партийными машинами”.

Фокус на проблеме партий как ключевых акторов демократической политики побуждает скорректировать традиционный взгляд

на неудачи демократизации большинства постсоветских стран. Основной причиной этих неудач выглядит не столько злая воля “узурпаторов”, восстанавливающих (после периода демократизации) иерархические порядки доминирования, сколько слабость тех организаций, которые должны обеспечивать влияние граждан на политику в качестве коллективных акторов. Пока этот вакуум сохраняется, политическая сцена будет оставаться объектом экспансии различных групп интересов, осуществляющих захват общественных институций и государственных полномочий и использующих их для выстраивания “патрональных сетей”.

Очевидная ценность концепции патрональности заключается в демонстрации взаимосвязи микро- и макроуровней социального порядка и софистицированной гипотезе, объясняющей, почему периоды либерализации в подобных странах не ведут к формированию устойчивых равновесий, но “вырождаются” в новые олигархические и авторитарные режимы, образуя своего рода “порочный круг” патронализма. В то же время слишком широкие обобщения автора вызывают вопросы. Так, с одной стороны, Хейл пишет, что патронализм в целом характерен для тех обществ, которые не совершили перехода к “порядкам открытого доступа”. С другой стороны, теория “патрональной политики” выступает в качестве некоего общего объяснения динамики постсоветских евразийских (то есть за исключением Балтии) стран. И наконец, патронализм объявляется ключевой характеристикой не только постсоветского, но также советского и досоветского социальных укладов.

Нет сомнения, что евразийские постсоветские страны не достигли больших успехов в утверждении институализированного либерального порядка, и точно так же нет сомнения, что этот порядок не существовал на данной территории раньше. Однако за границами этих констатаций различия режимов как на евразийском пространстве, так и на протяжении трех упомянутых периодов российской государственности (досоветском, советском и постсоветском) выглядят слишком значительными, в том чис-

ле — в отношении природы и масштабов их “патрональности”.

Так, советский режим, развивавшийся по траектории, принципиально отличающейся от траектории стран евро-атлантического ареала, был вместе с тем высоко институализированной, во многом деперсонализированной, партийно-бюрократической системой. Роль неформальных институтов в этой системе, несомненно, была гораздо выше, чем это представлялось в рамках ее догматического описания как “командно-административной”⁷, но все равно существенно ограничена мощной системой формальных правил и категориальных отношений. Базовым условием социального успеха в советском социуме была включенность в советские мегакорпорации (комсомол, партия) и смежные с ними корпорации профессиональные (например, Союз писателей, КГБ, Академия наук), и лишь затем — система личных связей, помогавшая продвигаться по их ступенькам. Растущая роль неформальных взаимодействий и различного рода патрональных сетей в последние десятилетия советской власти отражала как раз процесс эрозии советской корпоративистской машины.

Характерно, что после того, как советский режим рухнул, критики нового порядка нередко оценивали его как пример социальной деградации, “новый феодализм”. Это определение указывало, что в своих социальных и политических практиках новый порядок выглядел как своего рода деинституализация: на руинах советской системы, вопреки ожиданиям, формировался не основанный на праве современный либеральный режим, но выглядевшая явной архаизацией система преимущественно неформальных взаимоотношений и быстро складывающихся принципал-клиентских сетей.

Важнейшими социальными институциями 1990-х годов оказались не столько политические партии и частные корпорации, как это подразумевали нововведенные институты, сколько группировки и банды в самом широком смысле этого слова, то есть готовые к экспансии малые группы, связанные между неформальной кооперации (товарищества), возникавшие, как правило, на базе или

на периферии формальных советских институций (комсомольский актив, министерство, спортивная секция). Личные связи позволяли сохранить доверие в этих малых группах, в то время как социальное доверие в обществе, необходимое для формирования широких горизонтальных структур с открытым доступом, находилось на очень низком уровне. Группы, не имевшие навыков формальных взаимодействий в рамках советской системы, опирались преимущественно на насилие и стали ядром “организованных преступных группировок”; группы же, имевшие более существенный социальный капитал в рамках советской системы и обладавшие навыками неформальных взаимодействий внутри формальных институций, составили основу ранних бизнес-конгломератов 1990-х.

Уклоняясь от нормативных моделей описания постсоветского транзита, концепция Хейла пронизательно и плодотворно фокусирует наше внимание на расцвете нового патримониализма, или патронализма; однако, сосредоточиваясь на отрицательных эффектах “патрональности” (их подрывном характере по отношению к институтам зрелого правового государства), игнорирует их инновационную роль в условиях демонтажа советской государственно-корпоративистской системы. В широком смысле можно сказать, что именно эти группировки-банды по большей части и были заняты разгосударствлением советского корпоративистского режима, приватизацией его активов и социально-политических функций. Именно они составили основу первых частных фирм и корпораций в России, сформировали первоначальный спекулятивный капитал для рыночной экспансии, провели реструктуризацию советской промышленности на микроуровне и на определенном этапе в качестве ранних олигархических структур, будучи незаинтересованными в усилении государственной бюрократии и становлении единой патрональной пирамиды, спонсировали институции политического плюрализма (политические партии, либеральные медиа и гражданские организации)⁸.

Ячейки нового патронализма являлись, таким образом, одновременно агентами развития и расширения частной сферы, подав-

ленной в рамках советского режима и почти не имевшей организационных структур в момент его крушения. Это многообразие функций нового патронализма и новой неформальности обеспечивало взаимноподдерживающее становление негосударственных организаций в экономике и общественной сфере. И хотя этот процесс совсем не соответствовал идеалу деперсонализированных отношений либерального правового порядка, он все же выглядит необходимым и неизбежным этапом эволюции постсоветского общества. В результате сегодня частная сфера в нем предстает несравнимо более развитой, чем в момент либерализации начала 1990-х, а навыки социальных взаимодействий и создания организаций — гораздо более продвинутыми.

Институты и циклы “реставрации”

И в статье для *Daedalus*, и в своей книге Хейл не раз отсылает к фундаментальной теории Дугласа Норта, Джона Уоллиса и Барри Вайнгаста, одно из ключевых положений которой гласит, что переход к порядкам открытого доступа происходит в результате возможно даже случайных событий, но при наличии необходимых предпосылок, которые формируются еще в рамках “старого режима”. “Общества не совершают скачка от ограниченно-го доступа к открытому”, настаивают авторы, это длительный процесс развития естественного государства и формирования пороговых условий перехода⁹.

В такой перспективе тот факт, что переход к новому институциональному порядку не произошел в России в 1990-е, сразу после крушения коммунизма, не должен нас слишком удивлять. Незрелость частной сферы, отсутствие устойчивых негосударственных организаций в экономике и политике (частных корпораций и партий) являются слишком серьезными препятствиями для этого. Не столь удивительным в результате выглядит и факт реставрации иерархической системы доминирования после периода либерализации в начале 1990-х. Вопрос заключается в том, является ли эта реставрация завершением цикла “порочного круга”

патрональной политики, как склонен считать Хейл, или частью более длительного цикла, в рамках которого формируются институты и организации, необходимые для осуществления по крайней мере частичного перехода к “безличности” в будущем.

Действительно, начавшаяся в 1642 году Английская революция достигла апогея через 7 лет, когда Карл I был обезглавлен, а Англия провозглашена республикой. Однако уже через 11 лет, в 1660 году, произошло триумфальное восстановление власти Стюартов — республика потерпела полное поражение. И только через 28 лет после этого случилось событие, которое принято называть Славной революцией: недовольный Яковом II парламент призвал на трон Вильгельма Оранского. Но даже тогда действующим лицам было неизвестно, что это событие будет впоследствии рассматриваться как ключевой момент и английской, и всей европейской истории в силу того, что компромисс между парламентом и монархией окажется столь устойчивым и плодотворным. Примерно такой же по длительности сорокалетний цикл от радикального натиска революции в 1789 году до компромисса в результате Июльской революции 1830 года наблюдался во Франции (где, впрочем, понадобился еще один сорокапятилетний переходный цикл).

Из всего этого, разумеется, не следует, что Россию ждет неизбежное повторение этих известных сценариев, однако эти примеры заставляют быть более осторожным в оценке признаков частичной реставрации “дореволюционных” иерархических порядков как свидетельства завершенности цикла “порочного круга”. В своем обзоре длительного перехода к порядкам открытого доступа в Англии и Франции Норт, Уоллис и Вайнгайт специально отмечают, что становление института выборов в обоих случаях предшествовало формированию массовых, обезличенных политических партий. А их описание переходного периода во Франции середины XIX века во многом напоминает некоторые постсоветские режимы в описании Хейла. Политический порядок этого периода они, вслед за Морисом Агюлоном, характеризуют как “демократический патронаж”: “С рес-

публиканской стороны существовали многочисленные группы<...>, которые, подобно консервативным группам, центрировались вокруг индивидов, сетей покровительства и связей<...> Фракционный конфликт<...> разыгрывался по сценарию естественного государства, включавшему личную идентичность и привилегии, которые участники ставили на кон<...> Побеждающие фракции использовали законы, чтобы ограничить оппозиционные газеты и свободу собраний...”¹⁰. Иными словами, новые институты соседствовали со старыми, “патрональными” социальными практиками.

Для понимания институционального аспекта “реставрации” в постсоветской России можно обратить внимание на судьбу двух важнейших институтов “нового порядка”, важнейших завоеваний либерализации начала 1990-х — института частной собственности и института выборности губернаторов. Оба они сегодня функционируют в России в значительной мере фиктивно. Крупная частная собственность не является легитимной в глазах большинства населения. Ее нынешние распорядители опираются в своих притязаниях владения не на право, но на доступ через политические институты к институтам государственного насилия, а теряя этот доступ, теряют и контроль над собственностью. Существует очевидная взаимосвязь между восприятием этой собственности в общественном мнении в качестве неправовой и отсутствием механизмов ее правовой защиты. При этом, однако, ни у кого, в том числе у Владимира Путина, нет полномочий ни узаконить, ни окончательно отменить это “ублюдочное” право владения. Оно продолжает существовать в своей “ублюдочной” форме, оставаясь важнейшим фактором политических напряжений и нестабильности.

Институт выборности губернаторов функционировал в России около десяти лет — с середины 1990-х до середины 2000-х — и продемонстрировал как значительный потенциал в качестве механизма децентрализации власти, так и очевидные изъяны, выразившиеся прежде всего в тенденции “феодализации” (формирования субнациональных авторитарных режимов)¹¹. В 2005 году этот институт

был принудительно демонтирован Путиным, однако уже в 2012 году вновь восстановлен по двум причинам: во-первых, Кремль испугался формирования широкой коалиции городского уличного протеста и региональных элит, а во-вторых, по замечанию политолога Александра Кынева, осознал, что не может эффективно манипулировать электоральными процессами без содействия региональных “выборных машин”. В 2013–2014 годах в результате новых правок в законе и общего изменения баланса сил процедура выборов губернаторов была поставлена под контроль Кремля и сегодня существует в не менее “ублюдочном”, абортированном виде, чем институт собственности, полностью адаптированном для нужд политической монополии¹². Однако примечательно, что у, казалось бы, всемогущей президентской вертикали так и не хватило сил его окончательно отменить: и региональные элиты, и население демонстрируют свою заинтересованность в нем, хотя и не могут договориться о механизмах его устойчивого функционирования. Более того, как указал Андрей Захаров, события вокруг выборности губернаторов в России заставляют вспомнить перипетии аналогичного института в Бразилии при военном режиме: отмена этого института оказалась невозможной, а его восстановление самими военными в конце концов сыграло существенную роль в демонтаже их режима¹³.

Два эти примера дают представление о природе периода частичной “реставрации”. Новые институты, введенные в ходе революционных изменений, функционируют неполноценно (в том числе — в силу приверженности общества старым социальным практикам); в результате их поддержка, как и поддержка произошедшей либерализации в целом, снижается. В следующей фазе они приспособляются “реставраторами” (располагающими широкой общественной поддержкой) для восстановления функционала “старого порядка” — иерархической пирамиды власти. Вместе с тем “реставрационный режим” оказывается не в силах их вовсе отменить и вынужден мириться с их “ублюдочным” характером (решительным несоответствием формы и функционала), который остается

источником потенциальной нестабильности.

Тот факт, что функционирующие фиктивно новые институты демонстрируют изрядную живучесть, представляется неслучайным. При том, что патрональные отношения выглядят для большинства граждан как более надежный механизм социального успеха (на что пронципально указывает Хейл), они в то же время не способны вполне обеспечить легитимность “реставрационного” режима, вынужденного поддерживать риторику модернизации. Эта двойственность общественного мнения находит свое выражение, в частности, в парадоксе отношения к коррупции: с одной стороны, коррупция воспринимается как норма иерархических и персонализированных социальных порядков (норма патрональности), с другой — периодически становится поводом энергичной антирежимной мобилизации. Объяснить этот парадокс могло бы предположение, что граждане в подобных ситуациях оперируют двумя ценностными парадигмами: одна, функциональная, связана с представлением об эффективности патрональных отношений для целей социального успеха, вторая, нормативная, — с представлением о правовом, безличном порядке, соответствующем идеалу справедливости.

Эта способность ситуативно переключаться между двумя ценностными парадигмами хорошо заметна в данных российских опросов общественного мнения. Иногда она производит впечатление шизофрении, иногда достаточно логично распределяет предпочтения в разных ситуативных контекстах. Так, на вопрос “какая политическая система кажется вам лучшей?” около 20% респондентов отвечают “демократия по образцу западных стран”, а 24% выбирают “нынешнюю систему”. А на вопрос “какой бы вы хотели (в идеале) видеть Россию в будущем?” ответ “такой, как развитые страны Запада” выбрали в опросах в среднем 43%, а ответ “такой, как сейчас” — 11%¹⁴.

Поскольку, таким образом, “модернизационная” парадигма сохраняет определенное место в системе ожиданий и ценностей (конкурируя с патрональной), оказывается невозможным устранить и ассоциируемые с ней институты.

Потенциал демократической мобилизации как структурный фактор

Аналогии из истории Франции и Англии XVIII–XIX веков не могут служить аргументом в прогнозировании политических изменений в России XXI века, но позволяют взглянуть на природу частичной реставрации более широко. Возможно, новое авторитарное равновесие в России обретет какие-то устойчивые формы, но вполне вероятными выглядят и новые кризисы, результатом которых станет многосторонний компромисс, обеспечивающий бóльшую сбалансированность политической системы и формирование обезличенных, устойчивых политических фракций. Оставив в стороне множество ситуативных обстоятельств, которые могли бы повышать или снижать вероятность таких кризисов (например, падение цен на нефть ниже долгосрочных средних значений), попробуем сформулировать гипотезу относительно возможного системного фактора, влияющего на эту вероятность.

В то время как перспектива теории “порочного круга” патрональной политики фокусирует наше внимание на общности траекторий постсоветского развития на евразийском пространстве, различия этих траекторий выглядят все же очень значительными и значимыми. Так, среди постсоветских “евразийских” стран выделяется группа, где распад моноцентричной пирамиды власти в связи с крушением СССР не произошел вовсе (Туркмения, Узбекистан, Казахстан). Здесь мы наблюдаем вполне консолидированные авторитарные режимы. На другом полюсе — группа стран, где устойчивая единая пирамида патрональных сетей так и не сложилась (Молдавия, Украина, Грузия). Эти страны тяготеют к олигархической модели. Россия занимает срединное положение между этими двумя типами: период существенного политического плюрализма (“конкурентной олигархии”¹⁵) продолжался здесь около десяти лет (с начала 1990-х до, примерно, 2003 года). За это время Россия пережила два цикла президентских (1991, 1996) и четыре цикла парламентских (1990, 1993, 1995, 1999) выборов с непредрежденным исходом, а также не менее двух циклов губернаторских выборов. Однако затем

откатилась к авторитарной модели.

В значительной степени различия постсоветских политических режимов коррелируют с характером перехода к постсоветской государственности, в частности с тем, сопровождался ли распад советской системы всплеском национально-демократического движения в республике, заявившего себя в качестве электоральной силы еще в рамках первого (советского) выборного цикла 1990 года. Такая ситуация (помимо Прибалтики) имела место в пяти республиках: Армении, Грузии, Молдове, Украине и России — здесь демократическое движение на выборах 1990 года либо побеждало, либо получило значимый процент голосов (25–30% в Украине и Молдове). Этот факт, коррелировавший, в свою очередь, с весьма значительной дифференциацией реального социального уклада советских республик¹⁶, как представляется, имел большое значение для характера последующих взаимоотношений национальных элит. Там, где переход к постсоветской легитимности проходил при значительном давлении национально-демократического движения, это движение, хотя и не достигло своих конечных целей, тем не менее продемонстрировало потенциал политической (электоральной) мобилизации населения. В результате элиты в таких странах стремились и будут стремиться при каждом удобном случае использовать этот потенциал для защиты своих интересов в борьбе за власть и ресурсы. Установление моноцентрической системы “патронального доминирования” оказывается здесь крайне затруднительным и высокочатратным делом.

Промежуточное положение России между двумя группами стран может быть объяснено влиянием двух факторов. Во-первых, масштабом ресурсов, которыми располагает федеральное правительство. В 1990-е годы их объем был невелик, в результате исполнительная вертикаль не смогла стать основой “доминирующей коалиции”, оставляя пространство для частных олигархических групп и региональных политических машин. В 2000-е годы масштаб располагаемых ресурсов в связи с ростом цен на нефть резко вырос, причем это изменение не было результатом естественного экономического роста, то есть

не сопровождалось равномерным усилением большого числа экономических агентов.

Другое объяснение может вытекать из того факта, что два типа постсоветских политий, описанных выше, обнаруживаются внутри самой России. Специалисты по российской электоральной политике хорошо знают, что российские регионы устойчиво различаются по модели своего электорального поведения. На одном полюсе — регионы, где выборы не имеют значения: итоги голосования всякий раз демонстрируют консолидированную (от 70 до 99%) поддержку “власти” (такие же исходы голосований мы наблюдаем в евразийских странах “авторитарной группы”). На другом полюсе — урбанистические регионы, где манипулирование выборами возможно, но в ограниченном масштабе: здесь значительная часть населения склонна использовать выборы для выражения своего реального отношения к “властям”.

Если обратиться к думским выборам 2016 года, то мы обнаружим, что в регионах первого типа “Единая Россия” получала в среднем 78% голосов, а в регионах второго — 39%¹⁷. Таким образом, голоса, собранные в регионах первого типа, послужили своеобразным демпфером, гасившим потенциал электоральной мобилизации, имевшийся в регионах второго типа. В результате итоги голосования не создали серьезной проблемы для доминирующей коалиции, и “Единая Россия” смогла “записать” себе полную победу. Это послужило для элит сигналом, что рациональными являются стратегии лояльности и сотрудничества с доминирующей коалицией — ориентация на патрона, а не фронда и апелляция к избирателю.

Вместе с тем потенциал политической и электоральной мобилизации городских округов (продемонстрированный, в частности, протестами 2011–2012 годов) создает эффект долгосрочной неопределенности и неустойчивости и заставляет режим выбирать достаточно экзотические и экстремальные политики (вроде аннексии Крыма и конфронтации с Западом) для мобилизации поддержки, позволяющие сохранить устойчивость в краткосрочном периоде, но несущие с собой новые риски и проблемы для развития.

“Новый персонализм”: возможен ли транзит к партийности?

Скептический вывод Хейла о том, что в перспективе ближайших десяти лет вряд ли стоит ожидать в России перехода к тому, что Норт, Уоллис и Вайнгаст называют порядками открытого доступа, выглядит вполне бесспорным. Однако в терминах упомянутой теории вопрос состоит скорее в том, увидим ли мы в обозримом будущем формирование предпосылок такого перехода — появление устойчивых, деперсонализированных политических фракций, имеющих относительно массовую поддержку, или некие соглашения элит, обеспечивающих более сбалансированное распределение власти и взаимные гарантии¹⁸. Увидим ли мы, грубо говоря, нечто подобное Славной революции или новые демократические восстания наподобие Июльской революции 1830 года, стимулирующие новые институциональные эксперименты?

В своей статье Хилл формулирует ключевой вопрос российского политического будущего в терминах, обнажающих то же проблемное поле, которое находится в центре внимания патрональной теории Хейла: “Может ли путинская Россия — гиперперсонализированный президентский режим, опирающийся на неформальные элитные сети, трансформироваться в деперсонализированную систему, укорененную в формальных институтах”, которая обеспечит большую устойчивость и предсказуемость государственного порядка. Констатируя, что массового запроса на “иную систему правления” в настоящий момент в российском обществе не наблюдается, Хилл склоняется к обсуждению элитаристского сценария “формализации неформальных сетей”.

В качестве скорее желательного, наиболее перспективного для элит и для президента Путина варианта она видит дирижируемый самим Путиным транзит от персоналистского режима к партийному и предлагает в качестве образца модель “правлящей” Либерально-демократической партии Японии или других партий, обеспечивающих экономическое развитие в условиях ограниченного влияния населения на внутриэлитную конкуренцию.

Владимиру Путину такой сценарий дал бы возможность постепенно превращаться в “почетного президента”, своего рода Дэн Сяопина, сохраняющего роль арбитра последней руки и корректирующего баланс сил ключевых групп влияния. Вполне вероятно, такой сценарий соответствует представлениям Путина о собственной исторической роли как учредителя особой российской модели государства. Вопрос в том, насколько он реализуем в контексте тенденций и ограничений, которые мы наблюдаем сегодня.

Прежде всего стоит отметить, что основной тренд в динамике авторитарных режимов за последние сорок лет был обратным: число партийных режимов сокращалось, а персоналистских росло. Так, среди всех авторитарных режимов, учтенных в базе GWF (Geddes-Wright-Frantz), использующей эту классификацию, доля партийных режимов в 1989 году составляла 37%, а в 2010 году — 25%, и наоборот — доля чисто персоналистских режимов выросла с 23% до 45%¹⁹. Этот сдвиг произошел как за счет демократизации части партийных авторитаризмов (около половины), так и за счет персоналистского или партийно-персоналистского характера новых режимов (прежде всего возникших на руинах СССР). Несколько партийных режимов эволюционировали в персоналистские, но не наоборот; четырнадцать из пятнадцати партийных режимов, сохранившихся до сих пор, сформировались в эпоху холодной войны. Иными словами, партийные авторитарные режимы выглядят сегодня скорее реликтом, в то время как персоналистская модель “сильного лидера” (strongman) является вполне продуктивной для эпохи, наступившей после окончания холодной войны.

Интерпретация этой тенденции требует более тщательного исследования, однако лежащее на поверхности объяснение — это упадок идеологической альтернативы, которую являли собой различные социалистические режимы, произошедшая в результате экономическая либерализация в целом ряде стран и знаменитая “третья волна демократизации”. В то время как общая рамка рыночно-демократической модели развития стала повсеместной, “сильные лидеры”, используя

выборные процедуры, выдвигались в качестве защитников “национальной модели капитализма”, ограничивающих экспансию “западного” либерализма и возглавляющих борьбу местных элит за сохранение привилегий и патрональных порядков. Этим задачам соответствует традиционный набор характеристик “сильного лидера” — скорее прагматика, чем идеолога, исповедующего умеренный национализм (“нашизм”), патронирующего национальные олигархии, но в то же время имеющего прямые, не опосредованные отношения с нацией (неопопулизм). В известном смысле новый персонализм — это последствие экономической и политической либерализации конца XX века в тех странах, где она не привела к формированию достаточно институализированного либерального порядка (в базе данных GWF отмечены двенадцать случаев превращения “демократий” в персоналистские режимы в 1992–2010 годах, среди которых — Россия, Армения, Венесуэла, и шесть случаев транзита однопартийных режимов в персоналистские)²⁰.

Характерный “персоналистский” паттерн отчетливо просматривается в массовых предпочтениях россиян: высокий уровень поддержки идеи “сильного лидера” (такую модель правления более-менее поддерживали в 2011 году 67% россиян против в среднем 47% в странах, охваченных опросом международного проекта WVS²¹) соседствует с крайне низким доверием к “партиям”. На протяжении последних двадцати лет партии занимают устойчивое последнее место среди двенадцати государственных и общественных институтов, доверие к которым регулярно измеряет “Левада-центр” (см. Таблицу 1 на С. 10). Идея возврата к однопартийной системе пережила определенный ренессанс в российском общественном мнении первой половины 2000-х годов, когда ее в среднем поддерживали 35% опрошенных, однако после кризиса 2008 года средний уровень ее поддержки упал до 23% (см. Рисунок 1 на С. 10).

Таблица 1. Доверие политическим партиям и другим государственным и общественным институтам²² (в %)

	1996–1999	2000–2008	2013–2015
медиана доверия к 11 институтам	33	41	57
доверие к партиям	17	21	39

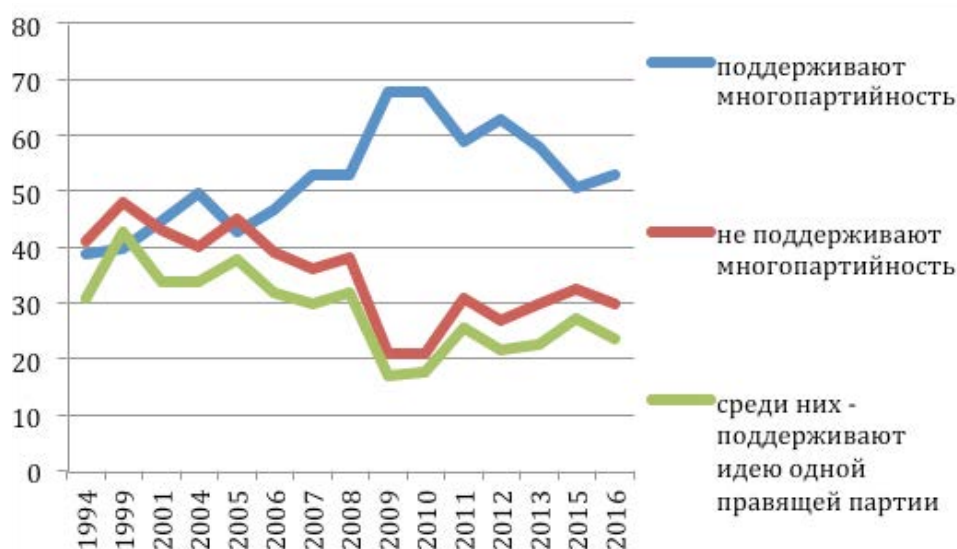


Рисунок 1. Поддержка многопартийности и возврата к однопартийной системе²³

Это отчетливое предпочтение персоналистской модели по сравнению с партийной представляется глубоко неслучайным. Поддержка “сильной руки” (персоналистского правления) в общественном мнении имеет по меньшей мере двойственную природу: она свидетельствует не только и не столько о предрасположенности населения к авторитаризму и патрональности, сколько о стремлении уравновесить эгоизм элитных фракций²⁴. Это и есть главная функция Путина в глазах российских граждан: в своем полномочии он выступает как олицетворение общегосударственного интереса, противостоящего интересам частных групп. Его деятельность по ограничению прав элитных фракций (олигархов, региональных баронов и их политических клиентел) неизменно встречала сочувствие достаточно широких слоев и позволяла

ему укреплять свою личную власть и популярность.

Авторитарное равновесие в модели “сильного лидера” возникает в треугольнике “лидер — элиты — население”, где последний актер обладает некой мерцающей субъектностью, является объектом манипуляций, но не может быть сброшен со счетов. В свою очередь, “сильный лидер” способен предоставить гарантии относительной безопасности и порядка обеим сторонам. Однако его возможности не безграничны: так, он не может предоставить надежные гарантии неприкосновенности собственности национальной олигархии, не только потому, что это уменьшило бы ее зависимость от него, но и потому, что эта собственность не является легитимной в глазах населения и такой шаг подорвал бы доверие к нему населения,

являющееся не менее значимым источником его власти, чем система патронажа в отношениях с олигархией.

Переход к партийной модели в этой ситуации может оказаться очень непростым делом. В этом смысле более вероятным выглядит транзит в направлении партийного режима в евразийских странах “авторитарной” группы, где политическая мобилизация населения как системный фактор отсутствует. Отметим, что в двух из трех стран этой группы (Туркмении и Узбекистане) персоналистский режим успешно пережил физическую кончину лидера-основателя, продемонстрировав устойчивость “патрональной пирамиды” и внутриэлитных соглашений, которые могут быть институализированы.

Во второй половине 2000-х годов партийный проект находился в центре внимания Кремля, но в формате не “правящей партии”, а “партии власти”, то есть клиенты исполнительной коалиции, обеспечивающей контроль федеральной и региональных legislatures²⁵. Однако в условиях резкого замедления темпов роста и ослабления поддержки режима после кризиса 2008 года именно “партия власти” оказалась той “красной тряпкой”, на которой было сфокусировано массовое раздражение. “Партия власти” стремительно превратилась в “партию жуликов и воров”, то есть стала фокусом энергичного отторжения клиентелизма. В результате и в 2012 году, и (предположительно) в 2018 году Путин участвует в президентских выборах в качестве беспартийного кандидата.

Кризис кремлевского партийного проекта указывает на второй важный фактор успешного транзита к “партийности” — экономическую динамику. Среди партийных режимов, сложившихся еще в годы холодной войны, можно выделить два полярных типа: последовательно рестриктивные режимы, опиравшиеся на идеологию и репрессивный аппарат (крайний вариант — Северная Корея), и частично инклюзивные режимы, устойчивость которых определялась длительным периодом высокого и, как правило, экспортно-ориентированного роста.

Становление системы устойчивого доминирования одной партии в Японии и сохра-

нение однопартийной системы в Китае имели место в условиях “экономического чуда”. Так, в Японии с момента образования Либерально-демократической партии в 1955 году по 1973 год ВВП удваивался дважды (каждые девять лет), а средние темпы роста за весь период составили 8%. В Китае с 1986 по 2000 год ВВП удваивался каждые 12 лет, а средние темпы роста составили 6%. Такая ситуация позволяла расширять доступ элитных групп и населения к экспортной ренте, формируя широкую “коалицию роста”, и подрывала эффективность обращения оппортунистических фракций элиты к населению с альтернативными политическими повестками. (К этой модели партийных режимов тяготели также Тайвань, Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Ботсвана.)

Период высокого роста в России в начале 2000-х годов продолжался 9 лет (среднегодовой темп 7%), но в следующие 8 лет (2009-2016) средние темпы роста упали до 0,4%, а в целом за период 2000–2016 годов составили 3,8%. Режим Владимира Путина пережил эпоху своего экономического успеха и вряд ли сумеет ее вернуть: практически никто не ожидает высоких темпов роста в России в ближайшем будущем. В такой ситуации партийный проект вряд ли может стать механизмом расширения, но скорее — ограничения доступа к ренте, а значит, его реализация потребует дальнейшей идеологизации режима и роста его репрессивности. В этом отношении (опять же) эволюция к однопартийной системе представляется более вероятной в Казахстане, Туркмении и Узбекистане, где средние темпы роста в 2000–2016 годах составляли 7–8,5%.

Нельзя исключить, что в будущем мы увидим примеры трансформации успешных персоналистских режимов в партийно-персоналистские и собственно партийные. Такой ход событий вполне соответствовал бы интересам правящих коалиций и стареющих лидеров, равно как и элитаристской логике институционального развития: формирование безличных правовых отношений сначала для элит и последующее их распространение на более широкие социальные группы. Но пока убедительных примеров такого рода

нет. Напротив, в ходе “арабской весны” мы наблюдали несколько случаев неожиданного и оглушительного крушения персоналистских и партийно-персоналистских режимов, уверенно поддерживавших внутреннюю стабильность в течение десятилетий. Кризисы персоналистских режимов, как свидетельствуют данные базы GWF, чаще (чем при других формах авторитаризма) сопровождаются значительным насилием, а исходом таких правлений чаще оказывается либо новая диктатура, либо системный кризис государственного порядка²⁶.

Политический режим и социальный порядок: открытые вопросы посттранзитологии

Если суммировать наши рассуждения на полях статей Генри Хейла и Фионы Хилл, то они сводятся к нескольким основным тезисам.

Оба автора вполне согласны, что нынешний российский персоналистский авторитаризм представляет собой пирамиду патрональных сетей, образованных неформальными связями и отношениями, в то время как многие формальные институты являются либо фиктивными, либо вторичными по отношению к ним. Для Хейла это является свидетельством завершенности “порочного круга” патрональной политики, свойственной как современной российской, так и (в другом обличье) советской системе. На наш взгляд, расцвет неопатримониализма, или нового патронализма, в 1990-е годы был своего рода и продуктом распада, и агентом демонтажа советской корпоративистской системы. В отсутствие устойчивых организаций, способных поддержать новые институты, он, безусловно, подрывал эти институты в их нормативном понимании, но в то же время способствовал развитию частной сферы в экономике и политике, практически отсутствовавшей в СССР, и становлению ее организационных структур.

Соответственно, если Хейл видит в восстановлении иерархических порядков (патрональной пирамиды) в путинскую эпоху реализацию сценария “порочного круга”, мы склонны уделять большее внимание тому об-

стоятельству, что новый авторитаризм складывается в среде, которую формируют совершенно иные институты и организации, нежели те, что имелись в наличии сразу после крушения советской системы. Эти институты являются во многом фиктивными, а организации не являются безличными, то есть в значительной мере встроены в систему патронажных и клиентских отношений. Тем не менее с точки зрения наличия реквизита и условий для перехода к следующим стадиям зрелости естественного государства сегодняшняя Россия выглядит гораздо более подготовленной. “Рестаурационный” режим вынужден не только сохранять введенные в революционно-реформаторской фазе модернизационные институты, но и отчасти поддерживать модернизационную риторику. Это связано в конечном счете с тем, что патрональная парадигма, хотя и обладает значительным авторитетом в глазах населения, оказывается недостаточной для его легитимации.

Последнее замечание обнажает то обстоятельство, что мы придаем большее значение фактору массового спроса в объяснении устойчивости режима и его динамики. Потенциал демократической (электоральной) мобилизации населения, проявивший себя еще в учредительной фазе формирования постсоветской российской государственности, остается важным ограничителем внутриэлитного торга и стратегий элитных групп. Этот потенциал мобилизации ограничен, с одной стороны, возможностью централизации экспортно-сырьевой ренты, а с другой — наличием в России значительной “электоральной периферии”, где такой потенциал пока практически отсутствует. В результате потенциал демократической мобилизации остается своего рода “мерцающим фактором”. Не являясь действенным фактором институциональных изменений, он существенно усложняет правила борьбы за ренты и снижает устойчивость узких элитных соглашений и надежность широких. Любой признак слабости режима может быть использован оппортунистическими фракциями для мобилизации массовой поддержки. Это обстоятельство, в нашем представлении, снижает вероятность долгосрочной консолидации но-

вого авторитаризма и повышает вероятность предстоящих кризисов и достигнутых по их итогам компромиссов.

В целом можно заметить, что в то время как транзитологическая парадигма, господствовавшая в политологии 1990-х, опиралась на детерминистские презумпции теории модернизации и уделяла большое внимание фактору массового спроса, посттранзитологическая парадигма, концептуальные рамки которой лежат в основе теории “патрональной политики” Хейла (так же, как и упоминавшейся выше концепции “конкурентных авторитаризмов” Лукана Вэя и Стива Левицки), напротив, выдвигает на первый план проблему “зависимости от прошлого” (path dependency) и специфику внутриэлитных взаимодействий, а массовую политическую мобилизацию рассматривает как опосредованный фактор (так, у Хейла “цветные революции” являются следствием слабости лидера патрональной пирамиды). На наш взгляд, значимой и самостоятельной переменной является наличие в конкретной стране потенциала такой мобилизации и его уровень.

Подобно тому как “новый патронализм” 1990-х представляется нам не столько простым воспроизведением прежних социальных навыков, сколько формой стихийного демонтажа и приватизации активов и функций советских корпораций, формирующим в результате многообразие негосударственных организаций в экономической и общественной сфере, новая модель персоналистского режима выглядит для нас следствием и своего рода компромиссом по итогам состоявшейся либерализации. Важнейшая способность “сильного лидера” — не только консолидировать патрональные сети, но и отвечать (хотя выборочно и манипулятивно) на вызовы массового спроса. Эта способность, которую определяют как наличие “не опосредованных отношений с населением” (Хилл), “неопопулизм” или паттерн “делегативной демократии”, составляет вторую равнозначную опору этого типа лидерства, наряду с навыками неформального патронажа. Новый тип лидерства, таким образом, выглядит ответом на вызовы и состоявшейся демократизации (всеобщие выборы, расширение политиче-

ской активности граждан), и экономической либерализации, последствия которой он призван ограничить, управляя привилегиями при помощи патрональных сетей.

Неопределенность прав собственности и прав доступа в этой модели правления также является фактором специфического равновесия. По всей видимости, число тех, кто готов признать и зафиксировать сложившееся на данный момент распределение прав и собственности (представляющееся крайне несправедливым и во многом случайным) — и среди населения, и среди элит, — меньше, чем тех, кто не готов его признать и зафиксировать. Парадоксальная роль “сильного лидера” в такой ситуации состоит в том, что он, с одной стороны, поддерживает эту неопределенность, а с другой — ограничивает и регулирует ее возможные последствия, то есть фактическое перераспределение. Перераспределение прав доступа и собственности происходит, но удерживается в масштабах, не критичных для ощущения относительной стабильности в глазах большинства населения и элит.

То обстоятельство, что постсоветский российский политический порядок выглядит во многих отношениях достаточно похожим на то, что переживали европейские страны в своих “переходных периодах”, отнюдь не означает, что Россия неизбежно проследует тем же путем, — такой детерминированности нет. Эти аналогии, скорее, призваны указать, что коррумпированность институтов и организаций на данном этапе сама по себе отнюдь не исключает подобной траектории. На самом деле, мы следуем здесь в фарватере предложенной Хейлом логики, согласно которой политический режим следует рассматривать не изолированно, но в контексте того, что можно определить как расширенный социальный порядок, свойственный данному обществу. Однако в то время как в представлении Хейла привычные социальные практики (патронаж и клиентелизм) и связанные с ними организационные структуры (патрональные сети) подрывают и подчиняют себе логику политических институтов, нам взаимодействия политических институтов и социального порядка представляются бо-

лее динамичными и разнонаправленными. Пример из французской истории указывает, что сосуществование новых институтов и старых порядков (патрональных) и типов организаций (персоналистских) вовсе не обязательно разрешается в пользу логики последних.

Еще один важный тезис теории патрональной политики состоит в том, что сила и резистентность патрональных порядков коренится в ожиданиях контрагентов и большинства граждан. Однако, на наш взгляд, при ближайшем рассмотрении эти ожидания оказываются принципиально двойственными и связанными как с узальной патрональной парадигмой, так — в определенных ситуациях и контекстах — и с нормативной, модернизационной. Эти два типа ожиданий пребывают в состоянии динамического неравновесия. Их двойственность поддерживается гетерогенностью институтов, сохраняющих модернизационный дизайн, но содержательно извращенных.

В отличие от транзитологического, такой взгляд не предполагает неизбежности движения в направлении модернизированных форм. Он лишь указывает на противоречивость достигнутого политического равновесия и заключенные в нем факторы динамизма. “Порочный круг” также является возможным сценарием этой динамики, но ни в коем случае не предзаданным, каким он выглядит в логике фактора “зависимости от прошлого”. Вопрос о том, какие же факторы и “пороги развития” стимулируют и обеспечивают процесс перехода от неформальности и персонализма к более формальным институтам и обезличенным организациям, остается, на наш взгляд, открытым. Россия и другие постсоветские евразийские страны являются для поисков ответа на него прекрасной лабораторией, но процесс экспериментирования в ней еще не завершен.

Примечания

- 1 См.: HALE H.E. *Russian Patronal Politics Beyond Putin* // *Daedalus*. Spring 2017. Vol. 146, Issue 2. P. 30–40. URL: http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/DAED_a_00432 (доступ 05.10.2017); HILL F. *The Next Mr. Putin? The Question of Succession* // *Ibid.* P. 41–52. URL: http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/DAED_a_00433 (доступ 05.10.2017); перевод статьи Ф. Хилл см. в нынешнем номере Контрапункта: Хилл Ф. *Следующий господин Путин? Проблема преемственности власти* // Контрапункт. 2017. №9. URL: http://www.counterpoint.org/9_hill/ (доступ 05.10.2017).
- 2 HILL F., GADDY C. *Mr Putin: Operative in the Kremlin*. Washington, D.C.: Brookings Press, 2015.
- 3 HALE H. E. *Patronal politics: Eurasian regime dynamics in comparative perspective*. New York: Cambridge University Press, 2014. P. 9–10; см. рецензию В. Гельмана в Контрапункте, № 2, 2015. URL: <http://www.counterpoint.org/patronal-politics-eurasian-regime-dynamics-in-comparative-perspective/> (доступ 05.10.2017).
- 4 Генри Хейл вводит понятие “патрональный”, которое является преемственным и в то же время отличным от более распространенного в социальных науках концепта “патримониальных” отношений, чтобы подчеркнуть его интегральный характер, квалифицирующий одновременно способы политических взаимодействий и более широкие социальные практики. См.: *Ibid.* P.22–28.
- 5 См. LEVITSKY S., WAY L. A. *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War*. New York: Cambridge University Press, 2010 (см. в особенности главу 5, посвященную постсоветским странам).
- 6 HALE H. E. *Why not parties in Russia? Democracy, Federalism and the State*. New York: Cambridge University Press, 2006.
- 7 См. в связи с этим знаменитую теорию «административных рынков» Найшуля-Кордонского: Кордонский С. *Рынки власти. Административные рынки СССР и России*. М.: ОГИ. 2006.
- 8 Союз либеральной журналистики и ранней олигархии, наиболее ярким примером которой являлся медиахолдинг олигарха Владимира Гусинского, выглядит столь же неслучайным явлением, как спонсирование олигархом Михаилом Ходорковским гражданских организаций в рамках “Открытой России” в начале 2000-х годов. С нормативной точки зрения эти альянсы выглядят коррумпирующими, с эволюционистской — картина гораздо сложнее; так, “Открытая Россия”, безусловно, дала мощный импульс организационному развитию гражданского сектора.
- 9 Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. *Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества*. М.: Издательство Института Гайдара, 2011. Помимо прямых ссылок, отметим, что концепция Хейла соотносится со знаменитым трудом

- и на более глубоком уровне — она построена на противопоставлении личностных (патрональных) и обезличенных (категориальных) механизмов социальной интеграции. В свою очередь, переход к безличности является ключевым моментом в развитии естественного государства, формирующим предпосылки для перехода в теории Норта и соавторов.
- 10 *Цит. соч.* С. 370–372.
- 11 Гельман В. Динамика субнационального авторитаризма (Россия в сравнительной перспективе) // *Общественные науки и современность*. 2009. № 3. С. 50–63.
- 12 См.: Кынев А. Региональный аспект политической реформы: новая модель вертикальной интеграции // Рогов К. (Ред.) *Политическое развитие России. 2014–2016: Институты и практики авторитарной консолидации*. М.: Фонд “Либеральная миссия”, 2016. С. 114–132.
- 13 Захаров А. “Спящий институт”: Федерализм в современной России и в мире. М.: Новое литературное обозрение, 2012.
- 14 Опросы “Левада-центра”, проводившиеся на протяжении 2000-х годов. См. подробнее: Рогов К. *Политическая реакция в России и “партийные группы” в российском обществе* // *Контрапункт*. 2016. №6. URL: http://www.counter-point.org/rogov_counterpoint6/ (доступ 05.10.2016).
- 15 Термин Р. Даля, см.: ДАН Р. А. *Polyarchy: Participation and opposition*. New Haven (Conn): Yale University Press, 1973.
- 16 Так, например, доля городского населения в РСФСР составляла в 1990 г. 74%, а в республиках Средней Азии в среднем 45%, варьируя от 31% в Таджикистане до 56% в Казахстане (см. *Народное хозяйство СССР в 1990 г. Статистический ежегодник*. М. 1991)
- 17 См.: Рогов К. *Три России. Зачем власти понадобилось парламентское сверхбольшинство* // *Republic*. 2016. 27 сентября. URL: <https://republic.ru/posts/74009> (доступ 05.10.2017).
- 18 Об условиях и признаках движения современных государств к более зрелым институциональным формам, предшествующим переходу к порядкам открытого доступа, см.: Норт Д., Уоллис Дж., Уэбб С., Вайнгаст Б. *В тени насилия: уроки для обществ с ограниченным доступом к политической и экономической деятельности*. М.: Издательский дом Высшей школы экономики. 2012. URL: <https://www.hse.ru/data/2012/04/01/1265143365/North.pdf> (доступ 05.10.2017).
- 19 См.: GEDDES B., WRIGHT J., FRANTZ E. *Autocratic Breakdown and Regime Transitions. A New Data Set. Perspectives on Politics*. 2014. June. Vol. 12, Issue 2. P. 313–331. Базу данных *Autocratic regimes data (GWF)* см.: URL: <http://sites.psu.edu/dictators/> (доступ 05.10.2017).
- 20 См. *GWF*; а также: KENDALL-TAYLOR A., FRANTZ E., WRIGHT J. *The Global Rise Personalized Politics* // *The Washington Quarterly*. 2017. Vol. 40, Issue 1. P. 7–19.
- 21 См.: ANANYEV M., ROGOV K. *Public opinion and Russian Politics* // TREISMAN D. (Ed.) *The New Autocracy. Information, Politics, and Policy in Putin’s Russia*. Washington, D.C.: Brookings Institution Press. (Forthcoming).
- 22 Источник: *Левада-центр*. См.: *Единый архив экономических и социологических данных* // НИУ ВШЭ. URL: www.sophist.hse.ru (доступ 05.10.2017), расчеты автора. В список институтов входят: президент, парламент, правительство, региональные власти, ФСБ, милиция, прокуратура, суд, армия, церковь, СМИ.
- 23 Источник: *Левада-центр*. См.: *Единый архив экономических и социологических данных*..
- 24 Поддержка модели правления “сильного лидера” не означает, в представлениях россиян, отказа от демократии: среди тех, кто поддерживает такую модель, 70% заявляют также о поддержке демократии, и наоборот — среди тех, кто поддерживает демократическое правление, 70% поддерживают одновременно модель “сильного лидера” (см. ANANYEV M., ROGOV K. *Op. cit.*).
- 25 См. об этом типе доминирующей партии Макаренко Б. И. *Постсоветская партия власти: “Единая Россия” в сравнительном контексте* // *Полис. Политические исследования*. 2011. Т. 121, № 1. С. 42–65.
- 26 GEDDES B., WRIGHT J., FRANTZ E. *Op. cit.*